

Андрей ТУРКОВ, критик

7 января в Бетховенском зале Большого театра состоится торжественное вручение премии «Триумф». Среди пяти лауреатов — писатель Виктор Астафьев. Его роман «Прокляты и убиты» стал одним из самых заметных литературных событий года.

*Переправа, переправа!  
Берег левый, берег правый,  
Снег шершавый, кромка  
льда...*

*Кому память, кому слава,  
Кому темная вода,—  
Ни приметы, ни следа...*

Как не припомнить эти строки Александра Твардовского, читая «Плацдарм» — вторую книгу романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» («Новый мир», №№10—12). Уже потому, что речь идет главным образом о событиях, случившихся при форсировании Великой реки, в которой, конечно, нетрудно угадать Днепр.

Так повелось, что и литература наша упорно стремилась лучшими своими произведениями под десятилетиями не ослабевавшим огнем цензурных запретов и разнородных критических статей наладить свою собственную «переправу» — к подлинной правде о войне.

Нелегкое это дело — рассказать о перенесенном и увиденном, но уже засевшем в памяти, как осколок. Вот он «толкнулся» в более раннем астафьевском произведении — «Клочок берега, без деревьев, даже без единого кустика, на глубину лопаты пропитанный кровью, раскрошенный взрывами... где ни еды, ни курева, патроны со счета, где бродят и мрут раненые».

И когда ныне читаешь про то, как «красавой жилкой бился провод, вмесивший в себя все напряжение человеческое», провод, доставленный за реку связистом Лешкой Шестаковым, который напоминает самого писателя то скупыми подробностями биографии, то характером ранения, эти слова невольно соотносятся с авторским замыслом, со всей книгой, которую так и хочется окрестить подвигом честной памяти.

«Плацдарм» — жестокая книга. Здесь не услышишь даже хриплого «Ура...» (не то что «За родину, за Сталина!»). «Мама! Ма-а-а-а-а-а-а-а!» — разносится над рекой из уст тонущих или захлебывающихся собственной кровью. Здесь не только тучи воронья, мух и крыс пируют над трупами, но и живых вошь со свету сживает. Здесь, обезумев, топят друг друга, паникуют, бросают оружие, забиваются в любую нору, откуда их, чтобы собрать силы для атаки, выковыривают, «прикладывают

ми быют, на подвиги призывают, как горестно и горько причитает наблюдающий эту картину раненый сержант Финифатьев... Словом, кровь и гной войны — в таком изобилии, что это, кажется, не умирающий Финифатьев, а сам автор скрипит зубами: «...тут сколько накалило... надо ж когда-то ослобониться».

«Ослобониться» и значит для

по плацдарму, безжалостно обнажены ныне, как на Страшном Суде, перед лицом обступающей и часто настигающей их смерти.

Но что же означают «зарубки», которыми членил автор свое повествование, — «День первый», «День второй» и так до «Дня седьмого», как озаглавлены следующие за «Переправой» главы? Просто последовательные акты трагедии, которую обернулось «сотворение» плацдарма, планировавшееся на гладких штабных картах? Горестные даты ранений и смертей? Отсчет дней, которые все еще держится и эта, и буквально, и фигурально истекающая кровью горстка людей?

# ПОДВИГ ЧЕСТНОЙ ПАМЯТИ

## О романе Виктора Астафьева «Прокляты и убиты»

Астафьева — сказать всю правду, «как бы ни была горька» (снова пришлось к слову незабвенных «Геркин!»), о войне, каким проклятием и поистине, как говорили встарь, божеским наказанием она в действительности была, об израненной ею земле, природе, которую писатель нередко оплакивает как живое, дорогое существо, об «издырявленных огнем деревенках» и об искалеченных человеческих телах и душах.

При этом по отношению к своим героям писатель отнюдь не жалостлив, скорее — суров. В высочайших традициях национальной самокритики, близких христианскому покаянию, он ничего не скрывает ни в характерах и наклонностях своих персонажей, ни в их реальных поступках прошлых и военных лет. Тот же Финифатьев, безмерно трогательный не только в воспоминаниях о жене, но и в заботах о своем непутевом дружке Лехе Булдакове и других товарищах, будучи колхозным парторгом, по собственному признанию, «приспособленный... хитрил, даже подличал». Со всей человеческой «требухой» описаны и его соседи

Или еще что-то, происходящее или приоткрывающееся в них в этих трагических обстоятельствах?

Лешка Шестаков, вспоминая, что, по поверьям, каждая падающая звезда — это отлетающая душа, думает, что, будь так, сейчас «на месте неба темнела бы мертвая, беспросветная пустота».

«Небо» же самой книги не беззвездно отнюдь не потому, что не все герои погибли, а потому, что в их душах, ожесточенных, закопченных гарью войны и других пожарах (Финифатьев иконы в костер бросал, кресты с церкви скидывал, а Шорохов, выходец из раскулаченной семьи, превратился в форменного волка), что-то живет, теплится, вспыхивает. Как сказано в помянутой в романе песне, «наше золото порохом пропахло да и мохом заросло». Но вот, хоть и вовсе не хочет писатель составлять пышный «наградной лист» на Леху Булдакова, равшегося уничтожить вражеский пулемет, «не дает» ему совершить этот подвиг, — не только ли в глазах потрясенных немцев, не в наших ли, читательских, вырастает этот ерник и пролаза в грозного гиганта? А ма-

терщинница, как чуть ли не все астафьевские персонажи (вплоть до немцев, тоже перенявших сей российский «сленг»), санинструктор Нэлька, донельзя измызганная жизнью, но под всей своей грубой броней невинно добрая? А Лешка Шестаков? А многие другие, которые при всех их грехах и «замшелости», из тех, кто, по известному выражению, с сошкой, кто «ломит, как конь», во вязкой военной пашне?

Осмелился писатель заглянуть и во вражеские окопы, пристальнее вглядеться в тех, для кого в нашей недавней литературе в достатке была лишь одна, вполне определенная краска, но которые в действительности были совсем не на одно лицо. Это, пожалуй, особенно ко времени именно сейчас, когда человек иной национальности слишком часто воспринимается как изначально подозрительный чужак. Замечу, что астафьевский роман вообще отчетливо противостоит этому печальному поветрию. Один из самых трогательных образов, особенно подробно обрисованный в первой книге романа («Чертова яма» — о жизни в запасном полку), — армянский юноша Васконян. После недолгой работы в сибирской деревне он, с не свойственным прочим героям Астафьева пафосом, воскликнул, что «за такой народ и умереть не страшно». Он и погибает во второй книге совсем незаметной смертью, оплаканный сгоронившим его Лешкой Шестаковым: «Это сколько же он учился, сколько знал, и все его знания, ум его весь, доброта, честность поместились в ямке, которая скоро потеряется, хотя и воткнули в нее ребятам черенок обломанной лопаты...»

И вот теперь Астафьев отдал дань тем военным тяготам, которые пали на плечи не только своего брата — советского, но и немецкого солдата, во многом уравняли их перед лицом страданий и гибели. «Плацдарм» — едва ли не первое в нашей литературе произведение, где рекеивем соотечественникам, чьи останки вскоре «замоет песком, затянет илом» новое рукотворное море, мирно соседствует с заключающими вторую книгу романа сострадательными строками о подобной же участи «голодных, изнуренных, больных, накрытых облаком белых вшей... чужеземцев».

...И как это у Виктора Астафьева сердца хватило на эту новую, труднейшую переправу — в тяжкое прошлое, к трудной, горестной, ранящей правде!